

А. И. Миллер

Российская империя, ориентализм и процессы формирования наций в Поволжье

В последние десять лет заметно вырос интерес ученых как в России, так и за рубежом к Российской империи вообще и к политике империи в национальном вопросе (или польском, украинском, финляндском, мусульманском и прочих национальных «вопросах») в особенности. В ряде публикаций заметны три новых, на мой взгляд, весьма позитивных, тенденции. Во-первых, это рассмотрение российской проблематики в широком сравнительном контексте. Во-вторых, это интерес к «пониманию» имперской политики, то есть стремление анализировать процессы принятия решений, в том числе бюрократические механизмы их подготовки, логику и мотивацию участников этого процесса вместо принятия как самоочевидного и неизменного желания имперских властей «давить и не пущать». В третьих, это внимание к региональному измерению, к специфике политических процессов в различных частях империи. На этих тенденциях мы и сосредоточим внимание при анализе ряда новых работ, авторы которых по преимуществу оперируют материалом поволжско-уральского региона.¹

Неизбежным следствием сравнительного подхода является постановка вопроса о применимости целого ряда концепций, выработанных западной наукой, к обстоятельствам и людям Российской империи. Совершенно естественно, что те, кто занимаются «Востоком» империи и ее востоковедами, не могли избежать дискуссии о применимости к России понятия «ориентализм». Проблема была поставлена Натаниэлом Найтом в статье «Григорьев в Оренбурге, 1851–1862: российский ориентализм на службе империи?» (5). Найт призывает к «осторожности» в отношении применимости концепции ориентализма Э. Саида к российским условиям. Саид и сам так считал, указывая, что Россия присоединяла близлежащие территории, и это делало ее отношение к восточным владениям иным, чем у Франции или Британии, чьи колонии были отделены от метрополий тысячами миль (8, с. 10). Описывая опыт известного востоковеда середины XIX в. Василия Васильевича Григорьева, Найт выдвигает ряд дополнительных аргументов. Во-первых, ориенталисты, то есть носители знаний о Востоке, по-нашему – востоковеды, не получали в России тех властных полномочий, которые они имели в Британии и Франции. Во-вторых, русские ориенталисты были более чутки к многообразию тех групп населения, которые объединялись понятием «Восток», по сравнению с французскими или британскими коллегами, которые, согласно

¹ Сразу оговорюсь, что многие из работ, которые будут упомянуты в этой статье, рассмотрены лишь в той мере, в которой они важны для обсуждения этих новых тенденций – автор не ставит себе задачу дать всесторонний анализ этих публикаций.

Саиду в интерпретации Найта, эти различия склонны были игнорировать. Наконец, в условиях России дихотомия Запад-Восток превращалась в «неловкий треугольник», поскольку отношения самой России с Западом были, по крайней мере, неясны.

Эти тезисы вызвали возражения у другого американского исследователя Адиба Халида (4). Его статья открывает целый цикл материалов о проблеме российского ориентализма, публикуемых в «Критике» – наиболее интересном на сегодня американском журнале о русской и евразийской истории, возрожденном после долгого перерыва стараниями молодых, свободных от прежних стереотипов исследователей Майкла Дэвида-Фокса, Питера Холквиста и Маршалла По. «Критика» поместила также ответ Найта и обобщающую полемику статью Марии Тодоровой (6; 9). Как обычно и случается в таких дискуссиях, спор касался не только наличия российской специфики и возможностей ее интерпретации, но и понимания самой концепции Саида.

Халид справедливо считает трактовку ориентализма Найтом слишком упрощенной и жесткой. Специфику российского опыта он не отрицает, но трактует ее, в отличие от Найта, не как доказательство неприменимости к России концепции ориентализма, а именно как особенности проявления ориентализма в российских условиях. На ряде примеров, прежде всего из биографии Николая Петровича Остроумова, служившего в Туркестане, он демонстрирует, что эксперты-востоковеды и в Российской империи оказывали существенное влияние на власть и процессы принятия решений. Во-вторых, он показывает, что западные ориенталисты тоже уделяли серьезное внимание различиям между народами Востока. «Знание этих различий и было их способом заработать себе на хлеб с маслом», – резонно замечает Халид (4, с. 696).

Обращаясь, наконец, к русскому отношению к Востоку и Западу, Халид отмечает, что те механизмы, которые лежат в основе ориентализма вообще, характерны и для русского ориентализма. Образование российских востоковедов мало чем отличалось в своих основаниях от образования их западных коллег. Русские, по его мнению, и концептуализировали свои отношения с Востоком как европейцы. Добавим: то, что они утверждали при этом свою проблематичную европейскость, как раз соответствует механизмам ориентализма, потому что и Запад концептуализировал себя через дискурс Востока (по Саиду) и через полуориенталистский дискурс Восточной Европы (по Л. Вольфу (11)). Этот русский дискурс Востока столь же мало был «озабочен» собственно Азией, как и ориенталистский дискурс на Западе (4, с. 697).

Отвечая Халиду, Найт по ряду важных пунктов уточнил и в определенном смысле смягчил свою позицию. Прежде всего, он отступает от прежней максималистской позиции и

признает, что «было бы неточно и тенденциозно полностью отделять Россию от широкого европейского феномена «ориентализма» (6, с. 709).

В вопросе отношений ориенталистов с властью Найт теперь сделал акцент не на стремлении востоковедов к властным полномочиям, которое и у изученного им Григорьева было ярко выражено, но на восприимчивости или проницаемости (*permiability*) власти для таких экспертов. Можно согласиться с Найтом, полагающим, что в этом смысле российская власть была менее проницаема, чем французская и британская, и что примеры этой проницаемости носят скорее эпизодический, чем системный, характер (6, с. 705). Но только серьезное сравнительное исследование могло бы доказать или опровергнуть утверждение, что в этом состоит именно *качественное* отличие власти в России от других империй.

Более убедителен другой тезис Найта – об отсутствии жесткой иерархизации в подходе русских востоковедов к «азиатам». Если западноевропейские ориенталисты полагали, что люди Востока заведомо «органически» интеллектуально ограничены в сравнении с европейцами, а политика западноевропейских империй не допускала возможности смешения населения, то русские востоковеды не считали «азиатов» менее одаренными, и не только не видели ничего дурного в смешанных браках, но воспринимали такое этническое смешение как неотъемлемую часть процесса формирования русской нации (6, с. 708).

В заключение Найт предлагает пять принципов, которыми следует руководствоваться при исследовании ориентализма. 1. Необходимо рассматривать ориентализм в историческом контексте, то есть как меняющийся феномен. 2. Ориенталистский дискурс не следует генетически связывать с востоковедением как наукой. Плодотворнее рассматривать их как самостоятельные феномены, находящиеся в тесном и сложном взаимодействии. 3. Не следует трактовать ориенталистский дискурс как единственный фактор, определяющий идентичность. Дихотомия Восток-Запад играла очень важную роль в формировании идентичности Запада, но был и целый ряд других, не менее важных оппозиций. 4. Ориентализм не следует рассматривать как практику, характерную только для Запада. 5. Ориенталистский дискурс не исключает возможности аккумуляции научного знания и осмысленной межкультурной коммуникации (6, с. 711-713).

Заключает дискуссию молодых американских историков статья давно работающего в США известного болгарского исследователя Марии Тодоровой. Она сразу помещает эту полемику в более широкий контекст: «Большой вопрос, скрывающийся за спором Халида и Найта, – это старый вопрос о том, насколько уникальна Россия и насколько применимы к России общие категории и модели, построенные на основании западноевропейского опыта» (9, с. 717). Если Халид однозначно считает русскую уникальность мифом, то Найт пытается

найти промежуточную позицию между Сциллой уникальности и Харибдой универсализма, говоря о российской «специфичности». Годорова считает, что основа этой полемики не научная, а политическая. Она сравнивает современные дебаты о русской истории с недавними дебатами об особом немецком пути (Sonderweg). Этот подход оставался актуальным, пока Германия не была встроена в общеевропейские структуры, и рассматривал ее историю как отклонение от европейской модели развития. Теперь те же особенности трактуются как одна из версий европейской истории, акцент делается на общих чертах, и историческое развитие Германии таким образом «нормализуется» (9, с. 719). Тот же механизм действует применительно к истории России – проблема ее «уникальности» останется актуальной до тех пор, пока не определится место России в европейских и мировых структурах (9, с. 720).

Это очень верное и в высшей степени своевременное наблюдение, потому что именно сейчас мы можем видеть смену политического контекста и влияние этого фактора на научный дискурс об истории России. За этим замечанием скрывается весьма существенная проблема. Для того чтобы «нормализовать» историю Германии или, теперь, историю России, мы можем выбрать два пути. Первый – соответствующие задаче акцентировка одних и ретуширование других сюжетов немецкой или русской истории. В этом случае «нормализация» оказывается такой же жертвой научности ради политики, как и прежняя «уникализация». Второй – расширение наших представлений о европейской модели (на самом деле – моделях) исторического развития, но этот путь приводит нас к очередному конфликту истории и политики, потому что формирование обслуживающего Европейское сообщество исторического мифа о европейском единстве сегодня налицо (7). Снова – больной для историков вопрос о соотношении их исследований с мифотворчеством и о рефлексии по поводу собственной методологии и ее идеологической обусловленности.

Второй важный тезис Годоровой состоит в «защите Саида с помощью Саида» от упрощающих его концепцию интерпретаций. Она верно указала, что и Найт, и Халид ссылаются на первое издание книги Саида, в то время как ученый существенно перерабатывал свой текст в последующих изданиях, учитывая критику. В результате он отказался от полемической заостренности и упрощенности многих своих постулатов в их первоначальной версии, что Годорова и демонстрирует рядом цитат (9, с. 724-725)¹.

Канадец Уэйн Доулер вряд ли знал о полемике Найта и Халида, когда писал свою книгу «Классная комната и империя: политика в области просвещения восточных народов России»,

¹ Нет сомнения, что дискуссия о российском ориентализме будет продолжена, в том числе и в самой России. Серию материалов на эту тему помещает последний номер казанского журнала *Ab Imperio* (№1, 2002), где, помимо редакционного предисловия, напечатаны статьи А.Эткинда, Д. Схиммельпеннинка ван дер Ойе, Н. Найта, Е. Кемпбелл.

вышедшую буквально через несколько месяцев после публикации этой дискуссии. Но некоторые страницы его работы написаны так, как будто он решил в этой полемике поучаствовать. Доулер сосредоточился на деятельности Н.И. Ильминского и на регионе Поволжья и Приуралья, где эта деятельность в основном разворачивалась. Ильминского можно считать недостающим звеном между героями Найта и Халида – Григорьевым и Остроумовым. Первый оказал на Ильминского решающее влияние во время их встречи в конце 1850-х в Оренбурге, где привлек его внимание к угрозе «татарского культурного экспансионизма» и подсказал ключевое решение о распространении среди других этнических групп грамотности на их местных наречиях с использованием кириллицы (1, с. 27–28, 66–68). Остроумов же был учеником Ильминского и по его протекции получил место в Туркестане.

Ильминский больше, чем кто-либо из российских востоковедов, повлиял на практическую политику. Созданная им в 1860–1870 гг. система обучения «инородцев» не только просуществовала до 1917 г., но и повлияла на советскую политику в этом вопросе (1, с. 32). Не занимая крупных постов, Ильминский тем не менее использовал свои связи в столицах, и прежде всего с Д.А. Толстым и К.П. Победоносцевым, для внедрения, а потом и защиты от критиков своей системы. Через них он влиял и на самодержцев (1, с. 118–119).

У Доулера принадлежность Ильминского к когорте ориенталистов, как и вообще применимость к России понятия «ориентализм», не вызывает сомнений. Основные идейные компоненты ориентализма присутствовали во взглядах русских на Восток. Доулер систематически сравнивает российскую политику в области просвещения в изучаемом регионе с опытом Франции в Северной Африке и Британии в мусульманских регионах Индии. Собственно, царские власти в качестве одного из первых шагов при разработке политики в этом вопросе отправили экспертов именно в эти колонии для «освоения опыта».

Выводы Доулера приведем *in extenso*: «Как и другие европейские колонизаторы, русские строили систему просвещения «инородцев» исходя из веры в превосходство европейской материальной и духовной цивилизации над другими культурами. Как и в других местах, в России образование для местных народов было нацелено на то, чтобы приспособить их к нормам и ценностям, к формам функционирования европейского общества. Как позднее у французов в Западной Африке, стратегическая цель русского образования заключалась в том, чтобы полностью ассимилировать нерусских. Однако высоко организованное присутствие ислама, коммерческая и культурная гегемония татар в регионе в конце 1860-х годов заставили русских идти к своей цели более окольными путями, чем те, которыми шли французы в Алжире или британцы в Западной Африке. Результатом,

по крайней мере на время, стала скромная поддержка через систему Ильминского местных языков в ущерб татарскому и, как многие вскоре стали утверждать, русскому. Российские нормы 1870 г., несмотря на их репрессивность и отдаленные ассимиляторские цели, не были более жесткими, чем британская и французская политика в Африке, лишь немного более жесткими, чем британская практика в Индии, и заведомо более протекционистскими в отношении местных языков. Сколь бы ненавистными они ни были для исламского населения, правила в отношении мусульманских школ были заметно менее репрессивными, чем в Алжире при французском правлении. Русские эксперименты с транслитерацией языков меньшинств с помощью алфавита доминирующего языка предвосхитили аналогичную политику в других империях» (1, с. 152–154). Очевидно, что для Доулера, как и для Халида, вопрос не в применимости понятия ориентализм к России, а в специфике российского варианта ориенталистских дискурсов и практик.

Книга Доулера – лишь одна из ряда появившихся практически одновременно весьма интересных работ о регионе Поволжья и Приуралья в поздний имперский период¹. Для освещения интересующего нас сюжета особенный интерес представляют книги Роберта Джераси и Пола Верта.

Р. Джераси в своей книге «Окно на Восток. Национальные и имперские идентичности в поздней царской России» в качестве одной из типичных слабостей историографии справедливо отмечает недостаток внимания к мотивации поведения различных имперских акторов (2, с. 7, 10). В этом замечании заключены два важных тезиса. Во-первых, признается, что в процессах формирования идентичностей восточных подданных империи с «русской стороны» выступали различные акторы, то есть вместо ложно обобщенного образа имперских властей и русского национализма объектом внимания становятся институты и индивиды с не просто несогласованными, но часто противоречащими друг другу взглядами и программами действий. Во-вторых, Джераси призывает к «пониманию» этих акторов, то есть к тому, чтобы отказаться от априорного «знания» планов и мыслей власти и/или русских националистов, к анализу их действительных представлений о той или иной ситуации и вытекавших из этих представлений планов действий.

Джераси указывает на двойственный характер восприятия правителями и интеллектуальными элитами империи территории Поволжья и Приуралья. С одной стороны, эти земли были уже давно включены в империю и в результате ее последующей экспансии утратили приграничное положение. Миграции привели к тому, что русские составляли здесь

¹ Кроме книг, построенных по региональному принципу, есть и исследования, посвященные «исламскому фактору» в Российской империи, где Поволжью и Приурально уделяется большое внимание. См., напр., Noack Ch. Muslimischer Nationalismus im Russischen Reich: Nationsbildung und Nationalbewegung bei Tataren und Baschkiren, 1861–1917. – Stuttgart, 2000. Судя по количеству защищенных в конце 1990-х годов диссертаций на эту тему, число таких монографий в ближайшем будущем существенно возрастет. (см. 10, с. 267)

более половины населения, а структура административного управления в XIX в. ничем не отличалась от «европейской России». В то же время эту территорию продолжали воспринимать как окраину прежде всего из-за устойчивого культурного и этнического разнообразия (2, с. 3–4), усугубляемого изменчивостью идентичностей многих групп населения региона. Джераси указывает на то, что этнические идентичности часто зависели от религиозного фактора: то есть переход мусульманина в православие выделял его в особую группу крещенов, переход язычников-анимистов в православие часто сопровождался сменой их идентичности на русскую, а переход в мусульманство – на татарскую.¹ При этом сама категория «татарин» была проблемной еще и потому, что существовали различия между волжскими или казанскими татарами, и татарами крымскими, сибирскими, касимовскими и т.д. Вплоть до второй половины XIX в. сами «казанские татары» чаще называли себя мусульманами или булгарами, позднее использовался термин «северные тюрки», чтобы отделить татар от монголов, с которыми они объединялись в русской публицистике (3, с. 294). Именно в этой не просто разнородной, но и неустойчивой в своих идентичностях среде возникли условия для конфликта двух экспансионистских проектов национального строительства – русского и татарского (1, с. 21–25, 83–84).

Структурно эта ситуация напоминает положение в Западном крае, где русский и польский проект боролись за влияние в малорусской, белорусской и литовской среде, и в Остзейском крае, где соперником русского проекта был немецкий. Политика властей в отношении различных этнических групп зависела от их численности, силы их элит и исповедуемой религии. Большие группы с полной социальной структурой, исповедовавшие одну из мировых религий, воспринимались как более опасные. Среди угроз не последнюю роль играла их способность ассимилировать другие, более мелкие и слабые этнические группы. Русификация этих мелких групп всегда рассматривалась как идеальная цель; но в крайнем случае государство готово было даже способствовать укреплению их особой идентичности, чтобы предотвратить экспансию более сильных групп. На исторически более развитой западной окраине империи были свои «невинные» – литовцы, эстонцы, латыши, а на отсталом востоке свой «злодей» – татары-мусульмане (2, с. 80; 10, с. 260-261; 1, с. 21).

Чтобы понять, как воспринимались эти окраинные конфликты властями и обществом, очень важно учитывать роль внешнего фактора, то есть участия «в игре» не только внутриимперских, но и зарубежных акторов. Западный и остзейский края непосредственно прилегали к той границе империи, откуда привыкли ждать военных угроз. Поэтому польская,

¹ Впрочем, как верно замечает другой исследователь миссионерской политики в Волго-Камском регионе Пол Верт, отношения между переходом в православие и обрусением были весьма сложными и многообразными. Можно говорить и, наоборот, об особых версиях православия, утверждавшихся в «иногородческой» среде региона (10, с. 124–146).

австрийская или немецкая «интрига» расценивалась как потенциальный подрыв обороноспособности империи. В контексте объединения Германии и нараставшего напряжения в отношениях с Австрией борьба за влияние на идентичности «невинных» меньшинств и стремление «предохранить» их не только от политического влияния, но и от культурной и языковой экспансии польского и немецкого проектов национального строительства все более воспринимаются в XIX в. как приоритетная задача.

Этот внешний фактор был очень важен и для восприятия современниками ситуации в Поволжье и прилегающих областях, хотя регион был расположен глубоко внутри империи. В последние десятилетия XIX в. и в начале XX в. все громче заявляют о себе панисламизм и пантюркизм. Автор обширной монографии «Политизация ислама» американский историк Кемаль Карпат не случайно дал главе «Формирование современной нации» подзаголовок «Тюркизм и панисламизм в России и Османской империи» (3, с. 276). Процессы, происходившие среди мусульман двух империй, были действительно тесно связаны. Среди основоположников этих идейных течений выходцев из России было, по крайней мере, не меньше, чем выходцев из османских владений. Уже во время Крымской войны многие мусульмане в империи Романовых проявляли симпатии к исламской империи Османов. С новой остротой проблема встала в ходе войны 1877–1878 гг. Карпат показывает, что Порта активно пыталась влиять на мусульманских подданных царя, и даже говорит о «битве царя и халифа за их души» (3, с. 286). Важность этого фактора признает и Джераси (2, с. 279). Поддержка пантюркизма и панисламизма среди российских мусульман стала для Стамбула формой контригры в ответ на панславизм и поддержку Петербургом национальных движений балканских славян.

Все это – часть более масштабной методологической проблемы исследований национализма. Плотность и многоплановость взаимодействия в области национальной политики между соседствующими друг с другом континентальными империями в рассматриваемый период носит качественно иной характер по сравнению с типичным для геополитического соревнования всех империй использованием «национальной» карты. По крайней мере с XIX в. понимание многих процессов в области национальной политики предполагает учет общей картины в макросистеме континентальных империй Романовых, Габсбургов, Гогенцоллернов и Османской. Панславизм был важным фактором внутренней ситуации в империи Габсбургов и в Порте, но его анализ немыслим без России, где он претендовал на роль если не официальной идеологии, то официозной. Панисламизм и пантюркизм претендовали на роль официальной идеологии в Османской империи, но не случайно имели в качестве отцов-основателей выходцев из Российской империи и оказывали

серьезное влияние на стратегии всех акторов, в том числе и центральной власти, в мусульманских и соседних с ними регионах империи Романовых. Пангерманизм сходным образом связывает Пруссию-Германию и с империей Габсбургов, и с Россией с ее остзейским краем.

Целый ряд наций формировался на территориях, в разное время принадлежавших разным империям, а часто и разделенных между ними не только до Первой мировой войны, но и позднее. Польский и украинский вопросы в России невозможно анализировать без учета Галиции и других территорий, находившихся за пределами империи. Во всех подобных ситуациях в списке акторов должно быть не одно имперское правительство, а, как минимум, два. Между империями происходил не только обмен идеями или средствами, отправляемыми на поддержку разных движений по другую сторону границы, но и весьма интенсивный кадровый обмен активистами национальных движений.

Учет «внешнего фактора» – одно из важнейших требований ситуационного подхода к изучению национализма, процессов формирования национальных идентичностей. Раз предметом изучения являются различные формы социального взаимодействия, то следует выявить всех вовлеченных в это взаимодействие акторов, понять логику (в том числе субъективную мотивацию) их поведения, учесть обстоятельства, в которых это взаимодействие происходит. Таким образом, ситуационный анализ не влечет за собой неопременного сужения масштаба исследования до регионального уровня, он, скорее, помогает сломать *привычные* рамки и ракурсы национальных или имперских нарративов, привлекая внимание как к микрорегиональному масштабу, так и к объединяющим ряд империй макрорегионам.

Вернемся на микрорегиональный уровень. В описанных условиях усилия татарских элит через распространение ислама и татарского языка¹ сплотить в единую нацию тюркские и угро-финские этнические группы Поволжья, Приуралья, и даже Средней Азии вызывали ужас в Петербурге. Реализация этого национального проекта не только ставила под вопрос власть Петербурга над «инородцами-азиатами», не только давала новые, неожиданные козыри Стамбулу. Именно потому, что Поволжье и Приуралье были «внутренней окраиной», через которую шли важнейшие коммуникации, соединявшие европейскую часть империи с Сибирью и Дальним Востоком, под угрозой оказывался проект «обрусения» и этих огромных пространств. Между тем к опасности сибирского сепаратизма власти относились всерьез еще со времен дела Г.Н.Потанина и Н.М.Ядринцева 1865 г.

¹ Предпринимались и попытки, в частности Исмаилом Гаспринским, разработать новый общий для всех российских мусульман язык, взяв за основу диалект, на котором говорили в Стамбуле (3, с. 295).

К.Карпат подчеркивает, что было бы неверно рассматривать развитие пантюркизма в России исключительно как результат влияния Стамбула. Русское образование было одним из инструментов модернизации мусульманских элит. В ходе такой вестернизации многие исламские интеллектуалы усваивают националистические идеи, рассматривая их как один из источников силы европейских держав, и начинают искать возможность применить их к ситуации своих этнических групп (3, с. 288–293). Мусульманские деятели в России демонстрировали, по мнению К. Карпата, более вестернизированный образ мышления, чем их партнеры по идеологическому творчеству в Османской империи. Они не приняли более традиционалистскую версию панисламизма, выдвинутую султаном Абдулхамидом, но предложили «его особенную, модернистскую, националистическую версию, известную как пантюркизм, в котором национализм и исламизм становились нераздельными элементами идеологии» (3, с. 296). Виднейшим идеологом этого течения был Исмаил Гаспринский, который стал открыто писать о «единой тюркской нации» сразу после 1905 г., т.е. существенно раньше, чем подобные идеи появились в Османской империи, причем тоже под влиянием выходцев из России. Отметим все же, что это объяснение не кажется полным. В самой Османской империи большое число мусульман-арабов сдерживало режим от принятия пантюркизма как официальной идеологии. Но Стамбулу ничего не мешало поддерживать экспорт или, точнее, реэкспорт этих идей в Россию, что и имело место.

В заключение заметим, что острота национальных проблем в поволжско-уральском регионе, проявившаяся в начале 1990-х годов, весьма вероятно, привлекла внимание историков к прошлому этих сюжетов. Исследования Доулера, Халида, Джераси, Найта, Верта – все были начаты именно в первой половине 90-х. Но работы всех этих авторов – весьма добротные, иногда просто очень хорошие научные исследования, свободные от политической тенденциозности. Они представляют собой важный вклад в изучение национальных проблем Российской империи.

Список литературы.

1. Dowler W. Classroom and Empire: The politics of schooling Russia's Eastern nationalities, 1860-1917. – Toronto, McGill-Queen's univ. press, 2001. – 448 p.
2. Geraci R. P. Window to the East: National and Imperial identities in late Tsarist Russia. – Ithaca; L.: Cornell univ. press, 2001. – 430 p.
3. Karpat K. H. The politicization of Islam: Reconstructing identity, state, faith, and community in the late Ottoman State. – Oxford, Oxford univ. press, 2001. – 533 p.

4. Khalid A. Russian history and the debate over orientalism // *Kritika*. N.S. -Bloomington. 2000. – Vol.1, N.4. – P.691–699.
5. Knight N. Grigor'ev in Orenburg, 1851–1862: Russian orientalism in the service of Empire? // *Slavic rev.*- Wash. 2000. – Vol.59, N.1. – P.74–100.
6. Knight N. On Russian orientalism: A response to Adeb Khalid // *Kritika*. N.S. – Bloomington. 2000. – Vol.1, N.4. – P.701–715.
7. Puntsher Riekmann S. The Myth of European Unity // *Myths and nationhood*/Ed. by Hosking G., Schopflin G. – L., 1997. – P. 60–71.
8. Said E. Culture and imperialism. – N.Y: Knopf, 1993. – 322 p.
9. Todorova M. Does Russian orientalism have a Russian soul? A contribution to the debate between Nathaniel Knight and Adeb Khalid // *Kritika*. N.S. Bloomington. 2000. – Vol.1, N.4. – P.717–727.
10. Werth P. W. At the margins of orthodoxy: Mission, governance, and confessional politics in Russia's Volga-Kama region, 1827–1905. – Ithaca; L., Cornell univ. press, 2001. – 275 p.
11. Wolff L. Inventing Eastern Europe: The map of civilization on the mind of the Enlightenment. – Stanford (Cal.), 1994. – 411 p.